

лый, кудрявый, с очень крупными чертами лица, очень красивыми карими глазами, нервный, добрый, легкомысленный, смелый, любящий, по-еврейски нетерпимый, по-русски непутевый, из тех горящих с двух концов людей”, — писал Михаил Осоргин.

Удивительно, но его любили не только читатели, но и писатели. В начале 1925 года по итогам анкеты он был признан самым популярным прозаиком. Притом, что конъюнктурным никогда не был.

Что же написал Соболев: романы "Пыль", "Салон-вагон", "Повесть о голубом вагоне", "Мемуары веснушчатого человека", рассказы. Набралось на четыре тома. Только где их прочитать сегодня? Последний раз книги его выходили в 1928 году.

Сейчас о Соболе, особенно о Соболе в Одессе, пишут. Сергей Лущик в "Реальном комментарии к повести "Уже написан Вертер" сравнивает текст повести с подлинными фактами биографии писателя, Владимир Хазан в статье "Андрей Соболев в Одессе" приводит его письма из одесской тюрьмы.

В начале перестройки поэт Марк Соболев на просьбу передать в Одесский литературный музей материалы об отце отрезал: "Советская власть его ненавидела, и ничего не даст показать". Он был не так уж и неправ. Ибо хотя газета с рассказом Соболя и есть в экспозиции музея, книги его так и не были переизданы. Ни в свободной России, ни на независимой Украине.

Мы живем без его книг. А может, с ними было бы чуть лучше?

Недаром же Катаев написал в 1926: " В лице Соболя русская литература потеряла талантливого писателя, еще не успевшего проявиться во всей своей силе. Простота, отсутствие фальшивых ухищрений. Ясный, доступный язык. Теплота и человечность. Вот причина заслуженного успеха Андрея Соболя".

Рассказы Соболя печатались в журнале "Огонек" чуть ли не с первых месяцев его существования — с 1923 года. Одна из последних прижизненных публикаций была в том же "Огоньке". Перестроечный "Огонек" вспомнит о своем авторе и опубликует несколько рассказов в конце 1980-х. Но все же большинство рассказов Соболя доступно лишь читателям старых пожелтевших подшивок двадцатых годов. Попытаемся исправить это.

Алена ЯВОРСКАЯ

Андрей СОБОЛЬ

Заседание

По украинским полям отскрипели везы, золотое зерно по верным, стойким налаженным дорогам за Рейн, золотым дождем обливая Кенигсберг, Лейпциг, Берлин, в леса убегали жители деревень, дымились сожженные избы, курились стога, воя в ночь, в тишь, в безлюдье поднимались с земли изнасилованные девушки, в Киеве, по Крещатику, гарцевали опереточные личные конвойные украинского гетмана.

А в комитете аккуратно заседали.

На сей раз заслушивали письмо из Москвы.

И заканчивал Корней Иванович свое письмо третьим постскриптумом (первый был об обращении к западным социалистам насчет нравственной поддержки, второй — о том, что в совете народных комиссаров раскол окончательный и бесповоротный):

"Урезоньте Игоря: ведь это удар в спину революции среди белого дня. Что он собирается делать — не знаю, для чего он торчит в Киеве — неизвестно, но вопиющий факт налицо: от работы он отошел. Он должен понять, что в сегодняшний грозный час более, чем когда-либо, надо охранять великие заветы прошлого, теснее, чем всегда, собираться вокруг нашего испытанного знамени. На нашу долю, на долю русской интеллигенции, пала тягчайшая, но священная обязанность: охранять культуру от варваров, достоинство России и цивилизации оберегать от разнузданных московских временщиков. Должен же Игорь понять, что история не простит ему бегства из рядов бондов за мир всего мира".

Ассаркисов, поглаживая ассирийскую бороду, молвил:

— Д-да, номер.

Беатриса Ароновна сказала густым контральто:

— Конечно, не простит.

И вздохнув, выжидательно глянула в сторону Кашенцева; вздыбьсь на миг, голубая блузка вновь безмятежно почила на молочных холмах.

Кашенцев молчал, только шевелил желваками — по лицу истерзанному, умученному сходились и расходились коричневые пятна, похожие на пролежни.

— Кто видел Игоря? — спросил Ассаркисов и зевнул: четвертое заседание за день, впереди еще два, в девять часов третьейское разбирательство: Маркусон обвиняет Семена Ивановича в тайных сношениях с петлюровцами, еще надо расспросить Кашенцева о результатах его поездки в Одессу — одесские здорово берут вправо, надо их обуздать, из Самары ни [*не разб.*] все еще нет, сегодня опять придется ночевать в передней питерского газетчика. — Так кто же видел его?

Восточный облик темнел в раздражении.

— Я, — робко отозвался Рыжик.

Беатриса Ароновна, негодуя, повела черными усиками — снова всколыхнулась голубая блузка, но уже бурно, грозиво:

— И вы молчали? Это возмутительно! Я предлагаю выразить Рыжику порицание. И вы не могли привести его сюда?

Рыжик обернулся к ней:

— На веревочке? А если он говорит, что всем нам грош цена? А если он говорит, что мы слепые и... И что надо всем по домам, каждому на свою полочку?

Под Кашенцевым затрещала табуретка, беспокойные в табачной желтизне пальцы пытались свернуть папироску: стукнув, выскользнув из рук, упала табачница — жестяная коробочка из-под лепешек Вальда.

— Ах! — вздрогнула Беатриса Ароновна и поднялась: из магазина щеткой в потолок стучала девушка Чанка: два гимназиста спрашивали очередной бюллетень.

В конце винтовой лестницы Кашенцев остановил Рыжика:

— Устроите мне с Игорем свиданье. Скажите...

Задвигались пролежни, в ворота ситцевой косоворотки, еще в копоты паровозной, судорожно дернулась жилистая пергаментная шея:

— Скажите ему, что мне необходимо... Нам нужно повидаться. Во что бы то ни стало. Сегодня же.

Рыжик качнул головкой, будто красный поплавок дернули снизу.

И поплыл поплавок по киевской хляби, нырял по Крешатику, потерялся на площади, вынырнул на Малой Житомирской — Игорь отказался встретиться с Кашенцевым, наотрез.

В кофейной "Шато де роз" Кашенцев ждал Игоря.

Тапер выколачивал марши, мазурки, за столиками копеечными блестящими рассыпался женский смех, купленный до зари, на всю ночь за несколько карбованцев, усы заглядывали в вырезы блузок, сапог отдавливало туфли, к окнам с улицы прилипали расплющено носы мальчишек-папиросников.

На помост, похожий на плаху, взбиралась, потряхивая монистом, вздувая расшитые рукава, толстозадая пейзажанка.

Ей кричали вслед:

— Яблочко!

— Красотки каба-рэ!

— Яблочко!

Пейзанка дожевывала булку, тапер ловил педали, лакеи, нашептывая, подавали белый чай, как старые кошки шипели газовые рожки. Кашенцев допивал третий стакан кофе — Игорь не шел, а губы были сухи по-прежнему.

Горела, как горела голова вчера, третьего дня, неделю назад, месяц, палимая ворохом мыслей — грудой раскаленных углей, не угасимых даже под пеплом сна, дремы и усталости.

Никнет голова, изнутри сжигаемая беспрестанно — тут, там, на скамье загона, за председательским столом, в походной палатке начальника чешского отряда, в каюте волжского парохода... Из часа в час, изо дня в день — принимая во внимание... всех, всех — безземельных, чехов, малоземельных, юнкеров, академиков... считая, что... близка расплата. За что? За что? Будут сведены счета — с кем, с кем?

Как в листопад вьются, несутся осенними листьями, последними, люди, города, совещания, полки, заседания, лазутчики, фракции, телеграммы, винтовки, уполномоченные... с востока на север, с севера на восток и опять с востока на север.

Ох, как жгут, как жгут угли, и нечем залить их: — багряный листопад, словно кровью политый, — кровавая полоса от берега волжского к Москве, кровавые русские трещины... — в чем правда твоя, Москва? Где правда моя, кашенцевская, купленная недешево?

Где правда единая? — ох, жгут, жгут угли, и не затопить, и не выкинуть, прахом развеяв по ветру...

И губы были сухи по-прежнему... Как вот сохнет душа, — проклятая, хоть бы высохла раз навсегда, хоть бы раз навсегда перестала то ныть, будто раздираемая сотнями колючек придорожных кустарников — одна дорога за другой, все дороги да дороги, а глянешь: бездорожье, безысходный тупик, — то сжиматься, как вот сжимаются игрушечные шары, воздух выпуская, когда продырявишь их. Цветные шары... цветные, трехцветные флаги российской державы... красные флаги над Кремлем... смешались краски, цвета, в пору захлебнуться душе человеческой смесью огневой — горит, горит душа... Где правда твоя, Москва? В чем правда моя, кашенцевская, разбросанная, раскиданная? — все смешалось и убегает, убегает из-под ног последняя, такая незаметная дорожка, — ох, жгут, жгут угли! — лови!.. Мучительно стиснув зубы, Кашенцев мял потухший окурочок. С помоста неслось: ...Яблочко, яблочко, куды котишься? В Чеку попадешь — не воротись. На пейзажке звенели бусы, чавкали рты, по напудренным женским подбородкам стекал жидкий крем пирожных.

Кашенцев ждал Игоря до одиннадцати — Игорь не шел.

А в двенадцать часов в комитете заслушивали экстренный доклад только что приехавшего товарища с Волги.

Самарский гость мимоходом докладывал о заколоченных московских лавках, о двадцати двух разрешениях на получение подтяжек, об окончательном и уже абсолютном брожении в красной армии, о дохлых лошадях на углу Кузнецкого моста, о комиссарских автомобилях, о подвалах на Лубянке.

— Мы это слышали, — прервал его вдруг Кашенцев, сдавленно, с хрипотой. — Надоело. К делу!

— Voilà! — сказал докладчик, некогда жительствующий в Париже, — и слегка обиделся.

Во втором часу ночи было постановлено, что для развития намеченного плана в Москву должен направиться член комитета.

Ассаркисов, сонно пропуская сквозь пальцы ассирийские завитушки (опять впереди ночевка в передней питерского репортера из "Биржевки"), предложил Кашенцева.

Беатриса Ароновна высоко занесла руку:

— Я за Кашенцева.

И в бок бархатно пропела Кашенцеву:

— Я вас от души приветствую.

Самарский гость, чиркнув в записной книжке, перешел ко второй части доклада:

— Итак, в сознании всей важности момента мы на съезде, в противовес захватчикам из Кремля, полностью выявили непреклонную волю всего крестьянства, широких рабочих масс и...

Кашенцев нагнулся к Беатрисе Ароновне:

— Где вода?

Беатриса Ароновна качнулась испуганно:

— Где беда? Где?

Кашенцев усмехнулся:

— Не беда. Вода где? Душно, пить хочется. Внизу, да? — продолжая усмехаться, тихонько стал пробираться к выходу.

Завизжала железная винтовая лестница; в магазине по книжным полкам шуршали мыши, в прорез ставня пробивалась острая полоска уличного фонаря, точно сабельный клинок, сверкая, надвое рассекал сумеречную завесу. Сбоку от лестницы Кашенцев присел на полуразвороченный тюк — пощупал, садясь: брошюрки, вытащил одну, на острие полоски разобрал: "Учредительное Собрание — хозяин земли русской", уронил книжку; сдуру ткнулся в ноги потревоженный мышонок, пахло клеем.

Отводя голову в сторону, Кашенцев полез в карман и, раздирая высохшие жаждающие губы, сунул револьвер в рот.

Наверху самарский уполномоченный заканчивал доклад: "...И на пути нашем мы не сворачивали и не свернем знамени своего, полученного нами, подлинными наследниками, из холодеющих рук великих наших...".

Огонек № 38, 16 декабря 1923

Эльдорадо

В центре, ближе к центру, там, где тротуары из асфальта и в витринах балык, парижские духи, набалдашники из слоновой кости и на Кузнецком щегольство советских модниц, там вывески-вывески и ресторан Эрмитаж или Эльдорадо говорит уму одних и сердцу других.

А за внешним московским кольцом, за линией демократического трамвая "Б", в кругу горбатеньких домиков и рыжих купеческих брендмауэров предвоенных годов — законно и на месте своем, назначенном — пивная "Ель да рада", пивная, дающая кусочки радости маленькому человеческому сердцу гораздо больше, чем ее собрат в районе приличном, в районе бульварного кольца, где трамвай "А" не гремит угрюмо, как "Б", а звонко заливается — ресторан "Эльдорадо", ресторан с фокстротом, с хитроумным конференсье, с чечеткой и интеллигентными романсами.

В "Эльдорадо" Барин появился под вечер; он был в реглане, в мягкой шляпе, со спутницей своей он говорил по-французски. Ужин был недурной, но не сногсшибательный, как предполагала спутница, не забывшая вчерашний кутеж с цыганами. За ужином Барин мало говорил,пил мало, но о спутнице своей не забывал: подливал вино, осведомлялся, нравится ли ей майонез, и какие фрукты она предпочитает.

А за сладким Барин внезапно посерел, сжал губы, мигом расплатился, не дожидая сдачи, потянул спутницу за собой, на Страстной кликнул извозчика, усадил спутницу, кинул ей на колени комок белых бумажек, — все это молча, как молча приподнял шляпу, как молча отошел.

Спутница его остановила извозчика, пересчитала брошенные ей деньги, радостно усмехнулась и откинулась к спинке пролетки, — и Барин немедленно исчез из ее сознания, как исчез неделю тому назад кассир мануфактурного треста: мадемуазель Мари нравилась новая экономическая политика и мадемуазель Мари давно уже перестала жалеть о том, что так далеко от нее Гренобль.

В пивной "Ель да рада" Барин очутился в двенадцатом часу, — зюйдвестка сидела набекрень, ворот был полураскрыт, над ярко вычищенными сапогами ширились галифе из темно-синего сукна.

Звенели, стучали, гремели, бубнили, грохотали стулья, ноги, стаканы, каурые бутылки, блюда с горохом, ножи, вилки, разверстые рты, похожие на развороченные помидоры. На помост, на плаху ежевечернюю, полз Мишка-гармонист, красная рубаха на нем мокрела, исходила пятнами, липла к спине. Медно-красные сосиски раздвигали сизые человеческие губы, чтоб потонуть в ненасытных впадинах, растекалась пена, умирая безропотно на дощатой поверхности.

И плакала, и стонала, и смеялась, и бредила, и жаловалась гармонь.

И плевала на все, и каялась, и захлебывалась от слез, и звериным рыком рычала, и просила, и молила, и издевалась, и ко дну шла камнем извечная песня русской заплеванной, прокуренной и проплаканной пивнушки.

Барин снял зюйдвестку — блеснул гладкий желтоватый пергаментный череп, и сразу стали чужими, далекими и сапоги с блеском, и галифе.

И недаром сказал ему минут пять спустя новый гость, кому Барин послал одну из своих мрачных улыбок, — гость, долго ожидаемый Бариним:

— Надень шапку. Без шапки тебя любой молокосос из Чеки узнает.

Барин сухо усмехнулся, но зюйдвестку надел, — и снова он стал приемлемым и для всех столиков, и для гармошки, и для красной рубахи.

И сказал про эту рубаху Барин:

— На палача похож.

Пришедший иронически спросил:

— Что, и мальчики кровавые в глазах?

Барин ничего не ответил, только поглядел на своего соседа, — и тот поспешил виновато:

— Не сердись, Алексей Михайлович. Я это так. Неудачная шутка.

И медленно ответил Барин:

— Я никогда не сержусь. Ты это знаешь. И, кажется, знаешь недурно. Но избавь меня от классических цитат. Я сыт ими по горло. И вообще довольно литературы. Тебе нужны разговоры по Достоевскому. И места ты выбираешь по Достоевскому. Достоевский погубит тебя. Я могу порекомендовать тебе писателя поздравнее. Читай Джерома К. Джерома. Русских писателей не читай: они, во-первых, все ломаки, во-вторых, больные, а в-третьих, в большинстве неграмотны. И вообще, читай поменьше. Дурная манера: шпионить, готовиться к террористическим актам, обнюхивать Кремль, готовиться к перевороту — и одновременно читать. И еще кого — Достоевского? Дурной тон. В 1924 году это звучит как плохо рассказанный анекдот, да к тому еще анекдот, которому 75 лет; надо поновее. В тебе еще остались твои прошлые эсеровские замашки. Освободись от них и купи себе книгу о системе Мюллера. А насчет мальчиков кровавых, то...

Барин сдвинул зюйдвестку на затылок, пожевал губами, пожевал — и внезапно лбом ко лбу придвинулся к соседу, снизу под столом крепкими сухощавыми пальцами ухватив, его колено:

— А ты... ты красной рубахи не боишься?

У Мишки-гармониста застонала гармонь напоследок, застонала и точно провалилась в яму. Столики ходуном пошли, — замолчала гармонь

и еще душнее, еще гаже стала пивнушка "Ель да рада" — а на другом конце города в это время на деньги Барина мадемуазель Мари готовила себе окончательную гибель, гибели не предчувствуя, возле памятника Пушкину мигом, без рассуждения отдав душу свою и плоть грешную сероглазому прохожему, и прохожий уже минут пятнадцать спустя перестал быть прохожим, а стал единственным и любимым.

И в "Эльдорадо", кажется, даже за тем самым столиком, за которым недавно сидела с Бариним, решительно и бесповоротно мадемуазель Мари отказалась от Гренобля. И сказала мадемуазель Мари, что русские мужчины всегда волновали ее, что в русских есть что-то непостижимое, и что из всех русских мужчин — сероглазый самый удивительный, и готова она за ним в огонь и воду.

Сероглазый умел чудесно улыбаться и сероглазый соглашался с мадемуазель Мари, из скромности чуть возражая, но соглашался, а после двух бутылок лафита сероглазый Мотька Штрайх по прозвищу Бездетник, гастролер из Одессы, где работы стало меньше, Мотька Бездетник, у кого в каждом городишке и городе были дети, в иных по два, а в Конотопе даже трое, повез мадемуазель Мари в один из глухих переулков Земляного Вала.

— А ты... ты красной рубахи не боишься?

— По Достоевскому? — уже не скрывая насмешки, спросил щупленький сугубо штатский Викентий Викентьевич, заведующий военным бюро, у кого в боковом кармане лежало предписание из Варшавы убрать во что бы то ни стало Барина не позднее понедельника утра.

А воскресная ночь шла к концу — шла к концу в пивной "Ель да рада", шла к концу по всей Москве, уходя, тушила огни ресторана-бара "Эльдорадо", последнюю лампочку возле постели мадемуазель Мари — и на рассвете мадемуазель Мари не нашла ни сероглазого, ни колец своих, ни сумочки, и на рассвете вытолкнули ее из комнаты беспощадно строгие руки, в одной нижней рубашке, ибо понравились строгим рукам шелковые юбки Мари и тупельки ее серебристые, и кружевные плетенья панталон, — воскресная ночь волочила по московским тротуарам и мостовым последние свои праздничные оборки, чтоб обернуться деловито-торопливым понедельником с докладами, с заседаниями, с резолюциями, понедельником труда, забот, сутолоки — будто скучным понедельником, но творческим, как обыденна, но творчески жива наша сегодняшняя жизнь.

И в весеннем легком рассвете Москва возникла как некое чудесное завершение всех наших затаенных дум и чаяний.

Викентий Викентьевич еще раз, в пятый раз, нащупал в кармане пузы-

рек, убедился, что притертая пробка на своем месте, что снадобье, значит, в сохранности и вкрадчиво сказал:

— Милейший Алексей Максимович, мои замашки меня иногда выручают. А вот позволь тебя спросить: если бы я тебя сюда не вызвал срочно, с кем бы ты эту ночь провел?

— С женщиной, — тихо ответил Барин и впервые за все время улыбнулся. — С женщиной, которая о политике ничего не знает, газет не читает, военных планов не ворует.

— А целует?

— А не знаю, как она целуется, — сухо оборвал Барин. — Ты бы еще меня спросил, как она отдается.

— В нашей профессии это нелишне знать. В нашем деле все должно быть на учете.

— И моя душа тоже?

Викентий Викентьевич в последний раз сжал пузырек и зевнул нарочито:

— Спать хочется. Нет, твоя душа нам известна. Если в таких, как ты, сомневаться, то лучше прямо с повинной в Гепеу.

Брови Барина чуть дрогнули, дрогнула зюйдвестка, — Барин табуреткой заскрипел, и сказал Барин слегка сдавленно:

— Каяться неплохо, когда каешься перед родиной.

Викентий Викентьевич махнул рукой: пой, мол, а вслух промолвил:

— А для чего ты рекомендовал мне Джерома К. Джерома?

И Барин привстал; стоя, он был строен, прям и сух. И еще раз сухим барским тоном сказал Барин:

— Хотя бы для того, чтоб ты не читал... Конан Дойля и не следил за тем, за кем следить не надо. Прощай. Знай я, что ты вызываешь меня для таких разговоров, я бы с той женщиной, с француженкой, мадемуазель Мари, не расстался бы, — мадемуазель Мари, к счастью, не член военного бюро.

Барин протянул руку:

— Прощай. Ты мог меня не вызывать. И этот маскарад... — Барин брезгливо коснулся зюйдвестки. — И эта пивная... Все это по плохому декативному роману. Ни к чему все это. Пожалуйста, впредь избавь меня от этих вещей. Я устал от них.

И под топ, гам, хлоп сказал Барин в последний раз в своей жизни, сказал так тихо, что Викентий Викентьевич едва слышал:

— Я вообще устал. Право на отдых должно быть у всякого человека, даже у того, кто торговал родиной и торговать больше не намерен.

Прямой, высокий, Барин сухими мертвыми глазами поглядел на Викентия и пошел к выходу.

— Постой. Присядь, — рванулся за ним Викентий Викентьевич. — Какой ты горячий и... быстрый. Разговор впереди. Допей свой стакан. Расплачусь — и выйдем вместе. Получены новые сведения. Есть новый приказ. Твое здоровье. Посиди, пойду расплачусь. В этом гаме полового не дозовешься.

И Викентий Викентьевич направился к стойке, — пустой пузырек, дело свое сделавший, полетел под чужой столик.

И еще раз выгнулась, сжалась и вновь растянулась гармонь-тальянка. Изгибалась, выгибалась гармонь-фокусница, потные пятна ширились на красной рубахе: не то палач, не то жертва, — играй и умирай, умирай и играй, Мишка-гармонист.

В кругу косовороток, смазных сапог, фуражек блином, в дыму, в чаду сгинул Викентий Викентьевич, — нырнул в дверь, растворился в ночи.

За дверью весенняя ночь полна вся волнующими намеками, за дверью Москва, Кремль, гробница на Красной площади, — выгибается, извивается, сжимается и вновь разжимается гармонь-фокусница. И под песенку об ухаре-купце нечеловеческий хрип умирающего потонул в пивном, в хмельном, проплаканном, прокуренном гаме.

Низко надвинув фуражку, Викентий Викентьевич глухими переулками брел к Земляному Валю; светало, но еще были пусты и глухи улицы.

А в одном из переулков у ворот темно-рыжего дома он наткнулся на плачущую женщину: в ночной рубашке, босая, она кралась вдоль стены, спотыкалась, падала, вновь поднималась.

Завидев издали Викентия Викентьевича, она кинулась к нему.

— Я французская подданная. Спасите меня. Меня зовут Мари Бриссо. Спасите меня.

Викентий Викентьевич поднял воротник пальто, Викентию Викентьевичу сразу стало холодно, Викентий Викентьевич прислонился к стене и сквозь зубы, еле-еле проговорил:

— Это вы... несколько часов тому назад были в баре Эльдorado с одним лысым господином? Не убегайте... Стойте... Стойте.... Вы? Да? Не убегайте. Я его друг. Берите мое пальто.

Он накинул на нее пальто.

Шел рядом с ней — и глухая безмерная тоска обволакивала его, и уже знал он, что от тоски этой ему никогда и никуда не уйти.

Мадемуазель Мари плакала, но тише и спокойнее.

И в весеннем легком рассвете Москва возникла как некое чудесное выражение всех наших затаенных дум и чаяний.

Огонек 1926